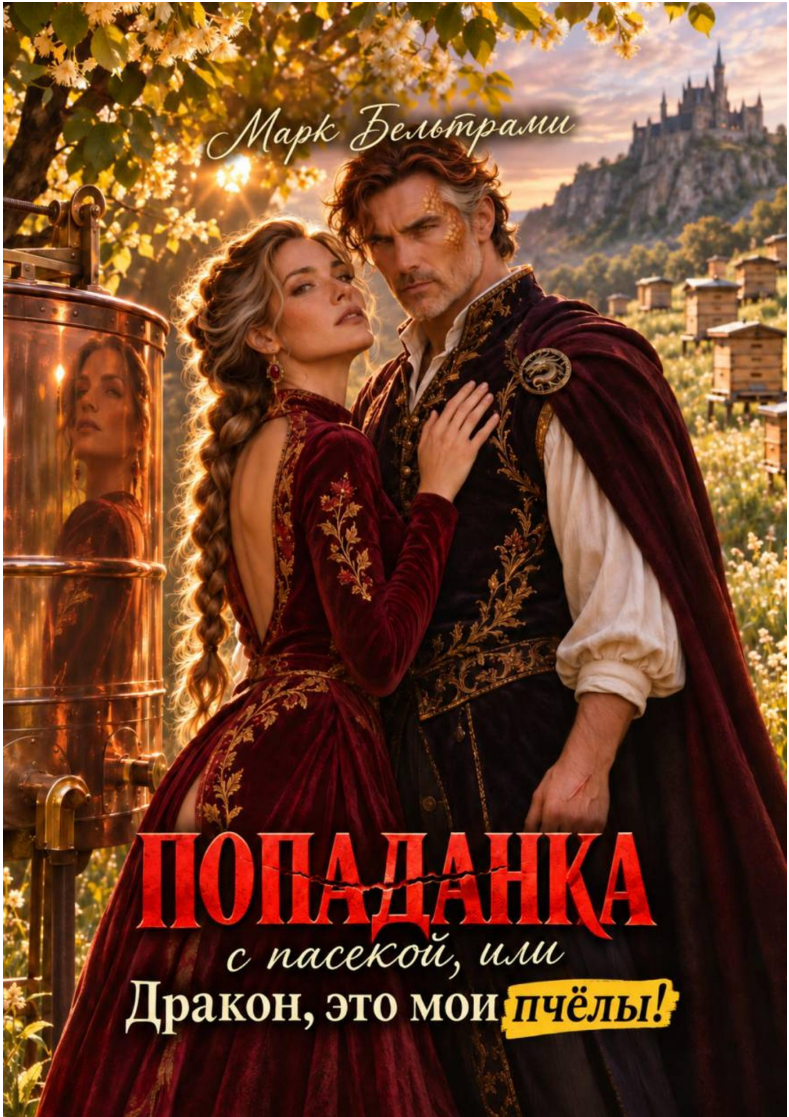

Марк Бельтрами
ПОПАДАНКА
с пасекой, или
Дракон, это мои пчёлы!

Марк Бельтрами

Попаданка с пасекой, или Дракон, это мои пчёлы!

https://litres.ru/75017464
SelfPub; 2026

Аннотация

«Дракон, это мои пчёлы! Сойди с улья, ирод крылатый!» Этой фразой пасечница Груня Липатова встретила утро в чужом мире. Два года назад бывший муж решил за неё всё. Теперь верит только бумагам.

В Луговии бумаг у неё нет. Лорд Элиан Дорн, янтарный дракон, объявил, что всё на его земле принадлежит ему, включая пчёл. Следом явился королевский сборщик Мортимер Квилл и потребовал пасеку для короны.

Груня торгуется, учит местных пасеке и продаёт мёд, который здесь дороже золота. Лорд, похоже, теряет огонь и скрывает это, а королевский мёд разбавлен патокой.

Уйти домой она может лишь в туман, а он приходит дважды в год. Здесь её дом и ульи, и отдавать их она не собирается.

Элиан надменен, ворчлив и никогда не отвечает одним словом. Рядом с ним Груня спорит и смеётся.

Как сохранить пасеку и не отдать себя в чужие руки? Можно ли довериться тому, кто привык решать за всех, если сама решать больше не позволишь никому?

При подготовке книги использовалась нейросеть.

Содержание

Глава 1. Дракон, это мои пчёлы! 5
Глава 2. Пчёл днём не возят 16
Глава 3. Расписку, будьте добры 28
Глава 4. Янтарная липа 39
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Марк Бельтрами
Попаданка с пасекой, или Дракон, это мои пчёлы!

Глава 1. Дракон, это мои пчёлы!

– Дракон, это мои пчёлы! Сойди с улья, ирод крылатый!

Так я заорала в то утро, ещё не успев проснуться до конца, и до сих пор не знаю, что меня подняло с водительского сиденья: гул или какое-то нутряное пасечное чутьё. Гул был не тот. Мои бурзянки гудят ровно, по-домашнему, а тут над прицепом стоял злой, высокий, дрожащий звук, как перед жалом, и я вывалилась из «буханки» в ночной рубахе и старых резиновых калошах, прихватив с приборной панели дымарь, потому что он лежал первым под рукой. Дымарь, правда, был холодный. Я это поняла уже на траве, когда шла к прицепу и трясла им, как кадилом.

Огромный янтарный зверь лежал брюхом на седьмом улье, вытянув шею вдоль ряда, и жмурился так сладко, будто его всю ночь не пускали на тёплую печку. Чешуя на нём отливала мёдом, каждая размером с мою сковородку, хвост свисал с платформы и подметал траву, а крылья он сложил по бокам, как складывает зонтик большой и очень доволь-

ный жизнью человек. Вокруг его морды крутилось облако моих девочек, они уже поняли, что грелка на их крыше живая, и возмущались как могли. Одна села ему на нос между ноздрями, потом вторая, потом сразу три.

Зверь открыл жёлтый вертикальный глаз и посмотрел на меня без малейшего страха. Потом ноздри у него дрогнули, он собрался и чихнул. Из пасти вырвался не огонь, а серый густой дым, пахнущий остывшей золой, и меня обдало этим пеплом с головы до калош.

– Ох ты ж ёлки-палки! – Я закашлялась, замахала дымарём и вдруг сообразила, что он пустой, а значит, придётся действовать по старинке. – А ну брысь, кому говорю! Там дети мои, там матка, ты же их передавишь! Пошёл вон, я кому сказала!

Я нашла в кармане прицепа спички и сухую труху, раздула дымарь за полминуты, как не раздувала его и на спор, и пошла на зверя, пуская белый едкий дым ему прямо в морду. Он морщился, трясся, пытался отодвинуться от дыма, а пчёлы тем временем нашли самое нежное место, ноздрю, и вцепились в неё всей командой. Дракон чихнул второй раз, третий, затрещал суставами, как старая телега, и наконец сполз с улья в траву, оставив на крышке вмятину и гору пепла. Я успела осмотреть седьмой улей, только когда он отошёл на три шага: крышка перекошена, но пчёлы в леток возвращаются без паники, значит, матка цела.

Тут я и подняла голову. Вот тогда и увидела всё сразу.

Липового леса не было. Накануне вечером я ставила «буханку» на кочёвке у реки Нугуш, под старыми липами, где у меня в этом году стояла пасека на цвете, а теперь вокруг лежал склон, поросший золотым донником по пояс, и по нему были разбросаны липы, совсем другие, широкие, с мелкими цветками, которые горели на солнце янтарём. Над склоном, на скале, как на каменной ладони, стоял замок с зубцами и башней. Настоящий, сероватый, со стягом, который лениво шевелился на ветру. Никаких проводов. Ни единого столба. Ни дороги, ни реки, ни леса.

– Батюшки… – сказала я и села на подножку прицепа, потому что ноги отказали раньше головы.

Тем временем зверь повёл плечами, и по его чешуе пошла рябь, будто по воде. Он стал уменьшаться, втягиваться, складываться, и через несколько секунд на траве стоял высокий мужчина лет сорока, с тёмными медными волосами, в которых у висков прорезалась седина, и с такими жёлтыми глазами, что мне стало неловко за собственные. Одет он был в тёмный камзол и сапоги, как артист из сериала про королей, а лицо у него было такое, будто это я улеглась на его крышку и не желаю с неё слезать. На правой ноздре вспухала красная точка. Он потёр её рукавом, брезгливо оглядел пятно пепла на этом рукаве и выпрямился:

– Позвольте заметить, сударыня, что всё, стоящее на моей земле, по закону принадлежит мне, и ваши жужжащие ящики, увы, не исключение, – произнёс он так спокойно, будто

читал мне меню в хорошем трактире.

Я открыла рот. Он говорил на чужом языке, это я поняла сразу, по тому, как двигались его губы и как гулко, округло звучали слова. Только я при этом всё понимала, каждое слово, как понимают речь во сне. И сама отвечала на этом же языке, хотя никогда его не учила.

– Ящики? Это ульи, милорд! – Откуда взялся «милорд», я не знала, оно просто выскочило. – И в них мои девочки, а не ваши подданные!

– Вот как. – Он поднял бровь, и бровь у него вышла выразительная, судейская. – Девочки, значит. Позвольте уточнить: девочки умеют платить подати и подчиняться владельцу земли? Мне, признаться, до сих пор казалось, что насекомые в этом смысле народ неблагодарный.

Тут бы мне и надо было возмутиться как следует, но вместо этого я почему-то посмотрела на свои калоши. Левая была вся в пепле, из правой торчал пучок донника. Я вспомнила, что на мне ночная рубаха, до колен, с выцветшим зайцем на груди, и что весь мир, видимо, вертится сегодня против часовой стрелки. Мужчина продолжал стоять и ждать, а я вдруг сказала совершенно не то, что собиралась:

– Где я?

– В долине Медвянка, на Липовом склоне, – ответил он, чуть мягче, чем раньше, и мне показалось, что в этот момент он впервые заметил, как меня трясёт. – Этот склон принадлежит мне, лорду Элиану Дорну, и я, хоть и не страдаю из-

бытком любопытства, был бы весьма признателен, если бы вы объяснили, каким образом посреди ночи здесь оказалась железная телега с двадцатью ящиками, стоявшая вчера, если мне не изменяет память, на пустом лугу.

Я его почти не слышала. Я полезла в «буханку», нашла в бардачке телефон, включила, и экран загорелся нормальным серым светом, 6:12, суббота, четвёртое июля. Сети нет. Ни одной палочки, ни «Нет сигнала», ни даже значка «аварийные вызовы». Только время и дата, как напоминание, что где-то есть другая жизнь, в которой сейчас тоже суббота. Я потыкала в экран, перезагрузила, подняла его над головой, залезла на крышу «буханки», хотя в калошах это было занятие для цирка, и всё равно ничего.

– Нет, – сказала я вслух, спрыгнув обратно. – Нет, нет, так не бывает. Я вчера ставила машину у Нугуша. Я же из Ташлов, у меня там дом, у меня там мама в… мамин дом, понимаете? У меня там кошка у соседки…

Я замолчала. Кошки у меня не было, это я зачем-то придумала, чтобы голос звучал как у нормального человека. Села на подножку «буханки», упёрла локти в колени, и слёзы пошли сами, без всхлипов, просто потекли по щекам и закапали на ночнушку, на зайца. Я плакала, как плачут от злости: некрасиво, кулаком по лицу, шмыгая носом. Лорд, надо отдать ему должное, не ушёл и не произнёс ни слова. Он только отошёл к тополю и стал разглядывать седьмой улей, заложив руки за спину, как человек, который очень хочет дать жен-

щине выплакаться и при этом не желает быть причастным к этому.

Минут через пять я вытерла нос подолом, потому что платка не нашла, и подумала: так, Груня. Тебе сорок два года. Двадцать лет ты держишь пчёл и два года как разведена, и всё, что с тобой могло случиться плохого, уже случилось, потому что хуже, чем стоять в зале суда и слушать, как Вадим говорит «я сам решу», не бывает. А тут всё-таки замок, солнце и, похоже, живые люди. Дышать можно. Это меня и вытащило: злость, самая обычная, на себя, на туман, на крылатого ирода, и я поднялась. Для начала я обошла «буханку» кругом, как обходят машину после аварии, и обнаружила то, от чего мне опять стало не по себе: позади колёс в донник не уходило ни одной колеи. Трава стояла нетронутая, высокая, с росой, и по ней нельзя было понять, откуда я приехала, словно «буханку» с прицепом поставили сюда с неба, как ставят чашку на блюдце. Я присела, потрогала мокрые стебли, понюхала ладонь: пахло мёдом и холодным камнем, совсем не тем лесом, где я вечером разувалась у реки. Здесь не было ничего знакомого, кроме меня, моих калош и двадцати семей, которые, как оказалось, перенесли переезд лучше хозяйки.

– Вы мне вот что скажите, милорд, – начала я, всё ещё шмыгая. – Пчёл вы мне напугали, улей мне помяли, а теперь я должна вам объяснять, откуда я взялась? Сами бы объяснили, откуда у вас в долине взялись липы, которых ещё вче-

ра…

Я осеклась. Липы. Мои пчёлы уже давно улетели с прицепа. Они шли прямым, дружным потоком туда, на склон, к тем самым янтарным деревьям, так, как идут только на богатый взяток, как не шли у меня ни в одном году, и в воздухе стоял ровный гул, густой, как в хорошее лето на липе. Я зашла за прицеп и посчитала. Седьмой улей помят, но жив. Третий, двенадцатый, пятнадцатый: везде у летков толкотня, пчёлы выбегают и возвращаются с обножкой, и цвет у пыльцы странный, золотой, почти оранжевый. Я открыла двенадцатый, пока ничего не понимая. Рамки были тяжёлые. За ночь, в чужом месте, без единого дня разведки.

– Ох ты ж мои хорошие, – прошептала я в улей. – Вы что же это, девочки… вы же вчера ещё никакой липы не видели, а вы уже понесли.

Позади меня раздалось покашливание, и я обернулась. Лорд стоял в двух шагах от меня и смотрел вовсе не на меня. Он смотрел на рамку в моих руках, и глаза у него были голодные. Жадно. Неотрывно, будто на кусок хлеба после недели поста. Он даже губу прикусил. Когда увидел, что я заметила, мгновенно выпрямился и сделал лицо надменное, как у вывески.

– Любопытно, – сказал он. – Весьма любопытно. Ваши, как вы выражаетесь, девочки очень быстро освоились. Мне бы хотелось знать, сколько мёда они дают с одной семьи за сезон, и в каком количестве, и какого качества. Разумеется,

из чисто хозяйственного интереса.

– Из хозяйственного? – Я прищурилась. – Что-то у вас, милорд, хозяйственный интерес на лице написан, как у кота над сметаной. Слюни подберите.

Он закашлялся. Я решила, что нечаянно попала в точку, но он тут же взял себя в руки и ответил спокойно, ровно, так, что я тут же пожалела, что вообще открыла рот:

– Благодарю за заботу о моём лице, сударыня. Однако позвольте напомнить, что вы находитесь на чужой земле, в чужой ночной рубашке, в лужице чужого пепла, и совершенно не представляете, какие здесь порядки. Я предлагаю разговаривать по-деловому. Как вас зовут?

– Аграфена Семёновна Липатова, – сказала я, подняв подбородок. – Можно Груня. Пасечница. Вот мои ульи, вот мои пчёлы, вот мои бумаги, сейчас покажу.

Я побежала в «буханку» и вернулась с папкой, где у меня лежало всё: ветеринарные справки на пасеку, свидетельство о регистрации кочёвки, акт осмотра, выписка на мамин дом в Ташлах. Я разложила это на капоте и тыкала пальцем в печати, как только что тыкала в телефон, и объясняла, что вот тут стоит «Бурзянский район», вот тут подпись районного ветеринара, вот тут на двадцать семей, и всё по закону, по самому настоящему закону. Лорд склонился над капотом, подпер подбородок рукой и читал по диагонали, шевеля губами, как человек, который видит эти буквы впервые. Потом выпрямился, вытер пальцы о платок, словно прикасался

к чему-то липкому, и сказал:

– Бумаги, без сомнения, прекрасные. Печати, насколько я могу судить, отличные, подписи размашистые. Но видите ли, сударыня, это бумаги земли, которой здесь нет. А в Луговии существует Медовая правда, и первая её статья гласит: «Что на земле лорда, то лорду». Всё, что стоит на моём склоне, моё. Дом, дерево, телега, ящики, вы вместе с вашим рукоделием, пчёлы, и мёд.

– Да вы шутите. Я человек, а не телега!

– Человек, у которого нет в Луговии ни родни, ни хозяина, ни подтверждённых прав, – он развёл руками, и жест вышел почти любезный. – Что уже само по себе, согласитесь, делает вас чужеземкой, а вопрос чужеземцев решается отдельно и, как правило, не в их пользу. Я не хочу вас обидеть, я лишь называю вещи своими именами.

– А я не хочу вам нагрубить! – рявкнула я. – Но если вы тронете хоть один мой улей, я вам… я вас этим дымарём отлуплю, понятно? Вы лорд, а у меня тут рамки с расплодом, они от толчка гибнут, а вы думаете, это что, корзины с яблоками? Ох, ну вы и… ну просто ирод, правда, ирод, хоть и красивый!

Он замер. Я тоже. Слово «красивый» повисло между нами, и я готова была откусить себе язык вместе с калошами. Лорд медленно повернул голову, посмотрел в сторону замка и пробормотал вполголоса:

– Гхм. Мне казалось, что подобными замечаниями меня

не удостаивали лет десять.

Я не ответила. Уши у меня горели, как печка. Хотелось сказать про Вадима, про то, как он двадцать лет решал за меня, а я теперь всю жизнь ловлю в чужих мужчинах эту же осанку хозяина, но говорить об этом было некому и незачем. Я достала из кармана «буханки» химический карандаш, раскрыла тетрадь и, чтобы руки занять, начала писать: «4 июля, суббота. Туман. Склон. Дракон». Потом зачеркнула «Дракон» и написала «лорд Дорн, ирод». Карандаш сломался. Я чертыхнулась, нашла в аптечке запасной, а он стоял над душой и читал через моё плечо, и от него пахло дымом, разогретой хвоей и чем-то неуловимо тёплым, медовым.

– Вы ведёте записи, – заметил он. – Похвальная привычка. Меня удивляет только, что вы записываете события в тетрадь, а не в договор.

– Это пасечный журнал, милорд. Туда всё идёт: дата, погода, взяток. Что ни случилось, то в журнал, потому что без записи оно будто и не было.

– Любопытная философия, – произнёс он и вдруг сморщился, прижав ладонь к груди, коротко, едва уловимо, тут же отнял её и сделал вид, что поправляет манжету. Я заметила, но подумала только, что у человека, наверное, ушибы от моих пчёл, и тут же об этом забыла.

Он отошёл к краю склона, поглядел на замок, на солнце, которое поднялось уже довольно высоко, и вернулся, держась прямо, будто на параде. Я успела спрятать журнал в кар-

ман рубахи и скрестить руки на груди. Мне хотелось, чтобы он сказал: ладно, погорячился, оставайтесь. Он не сказал.

– Подведём итог, сударыня. Закон ясен, обстоятельства необычны, а потому я готов проявить снисхождение, которое, смею вас уверить, мне вовсе не свойственно. Я не намерен силой изымать то, что вы называете своими девочками, и тем более не намерен делить склон с неизвестными лицами. – Он помолчал, неторопливо расправляя манжет. – До заката, сударыня, ваши ульи либо покинут мою землю, либо станут моими. Выбор, смею надеяться, очевиден.

Глава 2. Пчёл днём не возят

Через час после ухода лорда я сидела на подножке «буханки», уже одетая в штаны и толстовку поверх майки, и считала. Считала на пальцах, потому что на бумаге выходило ещё страшнее. Полбака бензина, это литров тридцать пять, а до ближайшего города неизвестно сколько. Двести рублей мелочью, которые здесь, судя по всему, годились разве что на грузила. Двадцать ульев, в каждом по семье, и все они в этот самый момент таскали на себе чужой, золотой, невиданный взяток и не собирались никуда переезжать. И ни одной мысли, куда ехать. Дорога вниз, к деревне, была, это я видела, вторая уходила к скале, к замку, а больше ни тропинки, ни указателя, и чем дольше я смотрела на склон, тем сильнее мне хотелось, чтобы он оказался декорацией.

Ульи я к тому времени уже сняла с платформы и расставила на траве в два ряда, как положено, летками на юг. Работа не требовала головы, и это спасало. Руки таскали, ставили, выравнивали, закрывали и открывали, а голова всё равно крутила один и тот же вопрос: что я скажу, когда лорд придёт на закате, и как я объясню человеку, не знающему азов, что с пасекой так не поступают.

– Эй, тётенька, а ваша телега сама ездит или её лошади тянут?

Я вздрогнула так, что чуть не уронила стамеску. Из заро-

слей донника, шагах в десяти, торчала рыжая голова, похожая на головку одуванчика, а под ней виднелась худая шея и серая от пыли рубаха. Мальчишке было лет одиннадцать. Босой, глаза круглые, зелёные, а в переднем зубе щербина, такая, что хоть пропускай сквозь неё ниточку. Он разглядывал «буханку», вывернув шею, и от изумления даже перестал прятаться.

– Сама, – ответила я. – Только бензин нужен, а он кончается. Ты чей, горе луговое? И что ты там делаешь в траве?

– Я Тоби, – сказал он, не отрывая взгляда от колёс. – Тобиас. Я при конюшне, но мне сегодня велели не торчать, потому что лорд взбешённый с утра, а когда он такой, то всем лучше исчезнуть. А я исчез сюда. А-а, а правда, что вы на милорда накричали?

– Правда, – призналась я. – Но он первый на моих пчёл улёгся.

– Во! – выдохнул мальчишка и присвистнул сквозь щербину, коротко, с уважением. – Пчёлы, значит, это они?

Он подошёл на два шага ближе, всё ещё осторожно, как подходят к чужой собаке, и я увидела, что у него губы потрескались, а под глазами синеватые тени. Живот у него заурчал так громко, что я услышала с подножки. Тоби покраснел, и вот тогда я встала, достала из бардачка батон, который купила вчера на кочёвке в сельпо, отрезала ломоть, а ложкой из банки, которую держала для себя на чёрный день, намазала мёд. Протянула. Тоби взял двумя руками, откусил, за-

жмурился, и мне показалось, что у него на секунду перестали работать все остальные мышцы.

– Ну как? – спросила я.

– Госпожа, – прошептал он, когда прожевал. – Вы что, с ума сошли?

– Вот тебе раз. Почему это?

– Это же мёд! Настоящий! – Он смотрел на хлеб, как на живого птенца. – Такой, как раньше, до мора. Он же дороже коровы! Целая кринка, говорят, десять крон, а корова шесть. Вы мне, получается, корову на хлеб намазали?

Я рассмеялась, причём сама не ожидала, что засмеюсь, и смех вышел тёплый, как будто кто-то выпустил из меня лишний пар. Потом перестала, потому что поняла: он не шутит. Мальчик держал хлеб с мёдом двумя руками и боялся откусить ещё раз.

– Ешь, – сказала я. – Ешь, пока не остыло. У меня таких коров целый прицеп. А потом расскажешь мне про вашу страну, а то я как с луны свалилась.

Он доел, облизал пальцы, вытер их о штаны и принялся объяснять, и из его рассказа, сумбурного, с перескоками, с «а вот ещё» и «а ещё», я узнала, что страна называется Луговией, что в этой долине, Медвянке, раньше было полно диких пчёл, а потом они вымерли, и это называют медовым мором. С тех пор мёд за золото, настоящего никто не видел, сборщик возит какой-то «казённый», а лорд мрачный и никого не слушает. Что в деревню ведёт тропа вдоль мельничного

ручья, и что староста Джоб, если с ним говорить в правое ухо, расскажет всё, что надо знать чужеземке. Слово «чужеземка» он произнёс уважительно, как «генерал».

В деревню мы пошли вдвоём, через два часа. Ульи я оставила на траве, обложив летки сеткой от ос, и, хоть сердце ныло, понимала: к закату надо вернуться со знанием, а не с пустыми руками. По дороге Тоби показывал мне камни, на которых любит греться уж, место, где нашли однажды волчий след, и ту самую липу, под которой, по его словам, прадед нынешнего лорда когда-то поссорился с прадедом Джоба из-за межи. Я слушала и шла, подгибая колени, потому что склон в калошах, конечно, не годится, и пришлось надеть кеды, которые я возила на случай грязи.

Медвянка оказалась деревней дворов на тридцать, с колодцем посередине площади, с кузней, трактиром под вывеской «Медный котёл» и двухэтажным домом с узкими окнами, перед которым стояла коновязь. Домишки были опрятные, с резными наличниками и пустыми огородами, а базар, как пояснил Тоби, сегодня уже разошёлся, потому что по субботам торгуют только до обеда, а мёда на нём всё равно нет. Народ высыпал на крыльцо посмотреть на меня, потому что слухи в долине бегают быстрее, чем лошади. Бабы шептались, мужики тёрли бороды, а одна девочка лет шести спряталась за мать и показывала на мою толстовку с надписью «Нугуш-2019».

Староста нашёлся у мельницы, где он тесал что-то топо-

ром, огромный, с бородой лопатой и руками, в которых топор казался перочинным ножиком. Джоб, как и говорил Тоби, был глуховат на левое ухо. Я обошла его справа, представилась, и он вытер ладони о фартук и пробасил:

– А, чужеземка. Знаю. Слыхал уже. Вы, госпожа Липатова, не из тех, кто сам пришёл. Вы из тумана. Таких мы тут встречали, хоть и давно.

– Из какого тумана? – не поняла я.

– Да из обычного, – он махнул рукой, точно речь шла о погоде. – Ночью был, вы въехали, утром вас нашли. Дело-то известное. Вы, госпожа, скажите лучше, чем помочь. У нас на чужеземцев один закон, и тот строгий.

Я рассказала, что мне нужно ровно два часа, чтобы понять, где я и чего от меня хотят. Он усадил меня на бревно, велел Тоби принести воды, сам сел напротив, положил топор на колени и принялся объяснять, не торопясь, обстоятельно, с остановками, как будто диктовал мне статью для газеты. Десять лет назад случился медовый мор. Дикие пчёлы вымерли за одну весну, борти опустели, и с тех пор мёд, настоящий, магический, с янтарной липы и золотого донника, стал редкостью, дороже золота. Долиной владеет лорд Дорн, как и его отец, и дед. Над лордами стоит Медовая правда, свод старых законов, и первая статья в нём: «Что на земле лорда, то лорду».

– Это я уже слышала, – сказала я мрачно. – От самого милорда. А вторая?

– Вторая про наделы, она вам ни к чему. Нужна двенадцатая, про чужеземцев, – Джоб почесал бороду. – Имущество чужеземца без хозяина отходит короне. Но корона далеко, пять дней верхом, и одна у нас Перевальная дорога, больше сюда никто не ходит. Так что, пока сборщик не приехал, всё решает лорд.

– Какой ещё сборщик?

– Королевский. Мортимер Квилл. Сухой такой, в очках, с чернилами на пальцах, он собирает медовую десятину с трёх долин. Приедет, поглядит на вас, на ваши ящики и скажет, что положено по закону. Вы, госпожа, ему лучше сразу бумаги покажите, у него страсть к бумагам.

Я чуть не закричала от радости: бумаги, вот это мой язык. Но тут же стало неспокойно: слишком много людей собралось вокруг моих ульев с одним и тем же вожделением. Лорд, сборщик, корона, и все на мёд смотрят, как на золото. А я пасечница, я просто хотела отработать лето и вернуться домой.

– А уехать мне отсюда можно? – спросила я. – У меня бензин… то есть топливо для телеги. Если я поеду по этой вашей Перевальной дороге, быстро доберусь до города?

– Пять дней верхом, – повторил Джоб. – На вашей телеге, может, и быстрее, да только дорога горная, местами тропа. А на что вам в столице? Вас там спросят, откуда пчёлы и по какому праву. Нет, госпожа, вам лучше на склоне остаться. По-хорошему с лордом договориться, и всё образуется.

Я хотела спросить, как договориться с человеком, который объявил мои ульи своими до заката, но тут из-за угла мельницы вывалилась круглая женщина в крахмальном чепце, со связкой ключей на поясе, и бросилась ко мне с таким видом, будто потеряла и вот нашла.

– Ох, деточка! – воскликнула она и сжала мои руки в своих мягких, тёплых ладонях. – Ох, деточка, ты наша! Мне уже полдеревни про тебя нашептало, а я-то думаю: кого это бог послал? Я Хэтти, экономка замка, ты не думай, я не со зла, я просто так. Ты бледненькая, бедная, небось ничего не ела. Пойдём, я тебе тут пирожок…

– Хэтти, подожди, – попыталась я встрять, но куда там.

– Ты на лорда не обижайся, – зашептала она, оглядываясь по сторонам, и в её шёпоте было столько заботы и столько любопытства сразу, что я невольно придвинулась ближе. – Он вообще-то хороший, только который год сам не свой. Мрачный, как туча перед грозой, ходит по замку, никого не слушает, ночами на башне торчит. А прежде-то пел, представляешь? Весёлый был, по утрам над двором напевал, я с кухни слышала. Теперь молчит. Вот и срывается на всех. А тут ты ещё, да с этими, ох, жужжащими… Ты уж не серчай на него, деточка, уж потерпи.

– Хэтти, я человек терпеливый, – сказала я, – но не до такой степени, чтоб отдавать пчёл. Мне двадцать лет понадобилось, чтобы собрать эту пасеку.

– А ты не отдавай! – Она всплеснула руками и тут же ис-

пугалась собственной смелости. – То есть не мне решать, конечно. Но ты поговори с ним ещё. Он выслушает, он человек справедливый, только гордый. Ох, гордый!

Она сунула мне пирожок с капустой, ещё тёплый, и ещё один, про запас. Я ела на ходу, пока Тоби вёл меня обратно, и никогда в жизни пирожок не казался мне таким вкусным. Всю дорогу меня не оставляла мысль: все ждут моего решения, а решать-то не из чего.

К закату я успела проверить каждый улей, вытащить из «буханки» всё, что могло понадобиться для разговора, и надела чистую рубаху, потому что при лорде хотелось быть в одежде получше ночнушки. Солнце стало садиться за замок, склон окрасился янтарным, как будто его облили мёдом, и над башней взвились три чёрные точки. Они росли, и я поняла, что это не птицы, а двое всадников и прилетевший с ними дракон. Дракон снизился, прошёл над ульями, и поднялся такой ветер, что я схватила ближайший улей обеими руками, чтобы его не сдуло. Лорд опустился на траву, огромный, янтарный, свернул крылья и обернулся человеком. Со стороны дороги подъехали двое стражников на тяжёлых конях, в кольчугах, и один из них нёс верёвки и носилки, как для мёртвых.

– Ну что, сударыня, – произнёс Элиан Дорн, поправляя перчатку, – день прошёл. Надеюсь, вы использовали его с пользой и нашли, как организовать отъезд.

– Нашла, – сказала я. – Организовала. Вы можете взять

любой улей, милорд, только сперва послушайте. Пчёл днём не возят.

– Прошу прощения?

– Пчёл днём не возят, милорд! – повторила я, повысив голос, потому что стражники уже шагнули к ульям. – Днём они в поле, а на закате возвращаются не все сразу, и если утащить улей, пока поздние не долетели, то все те, кто на взятке, останутся без дома, и они будут кружить над пустым местом до смерти. Ночью везти можно, да только при закрытых летках, и то не жарой, а в прохладу, и не на ваших носилках, а на нормальной телеге с рессорами, иначе соты оборвутся. А вы хотите, чтобы я вам увезла двадцать семей за ночь, на верёвках? Это ж не мешки с картошкой!

Лорд не ответил, и я вдруг ощутила, что говорю уже совершенно спокойно, без визга, по-деловому, и что именно так надо было с самого начала. Я взяла за рамку, показала ему сот, объяснила про расплод, про матку, про то, как пчёла после вылета ориентируется по солнцу и по запаху улья. Он слушал, склонив голову, и в его жёлтых глазах появилось что-то вроде настороженного любопытства. Только когда я кончила, он поинтересовался:

– Следовательно, вы утверждаете, что при насильственном переносе улья пчёлы погибнут?

– Многие погибнут, – ответила я. – А выжившие злые будут, как черти. Пчёл днём не возят, милорд. Хотите мёртвых пчёл, так и скажите, я вам их в бумажку заверну, чтоб не

рассыпались. Только какой в них прок? Вы же не за пчёлами пришли, вы за мёдом. А мёд им делать живым. Лорд отвернулся к ульям, помолчал, почесал переносицу и сказал, словно ни к кому не обращаясь: – Гхм. Вы торгуетесь со мной на моей же земле, сударыня, и, признаться, я давно не встречал подобной дерзости. – Он помолчал. – Впрочем, мне необходимо признать, что в ваших рассуждениях есть доля здравого смысла. Я не специалист по насекомым. Мне, как человеку практическому, важно получить мёд, а не груду мёртвых тел, и потому я готов предоставить вам отсрочку. До конца липового цвета.

– До конца цвета? – Я выдохнула, и у меня задрожали колени. – Это сколько?

– Недель шесть, если лето не обманет. Вы успеете собрать то, что вам нужно, а я успею решить, что с вами и вашим хозяйством делать. – Он слегка поклонился, как кланяются в театре, по-актёрски. – Разумеется, склон остаётся моим.

– Ну, тут я с вами не соглашусь, – сказала я. – Скажите вслух, милорд, что пчёлы мои. Только пчёлы, остальное поделим. Хоть при этих двоих скажите, чтоб слышали.

Стражники переглянулись, и один из них, тот, что носил верёвки, спрятал их за спину. Лорд улыбнулся, коротко, одним уголком рта, без тепла и, как мне показалось, с огромным удовольствием.

– Сударыня, я с превеликим уважением отношусь к вашему упорству. Однако, увы, я не могу сказать вслух того, что

противоречит закону Луговии, и тем более в присутствии стражи. Скажем так: до конца липового цвета ваши девочки останутся при вас. А кому они принадлежат, это обсудим позже, когда вы убедитесь, что договориться со мной выгоднее, чем спорить.

Он повернулся и ушёл по склону, сопровождаемый стражниками, а я ещё долго смотрела ему в спину, злая и довольная одновременно. Победа вышла какая-то половинчатая, но всё же победа. В ту ночь я не смогла уснуть до самой полуночи, ворочалась на койке в «буханке» и слушала, как за стенкой шуршит под колёсами Тоби, который, оказывается, и не думал возвращаться на конюшню. Я вылезла, нашла его свернувшимся на траве, подложившим под голову локоть, и накрыла своей ватной курткой. Он что-то пробормотал во сне, подтянул колени к груди и затих, а я стояла над ним и думала, что мальчишку никто не искал.

Воскресенье прошло в работе. Я осмотрела все двадцать семей, сменила прогнившие подставки, подкормила слабый улей, записала в журнал: «5 июля. Липа. Взяток небывалый». Тоби таскал воду, хлопал в ладоши, когда я называла ему части улья, и к вечеру знал уже, чем рамка отличается от магазина, а чем матка от трутня. Хэтти прислала с кухни корзину снеди и записку, которую Тоби прочёл мне вслух: «Деточка, ешь». Больше никто не приходил, и склон жил своей жизнью, жужжа, звеня и пахнув липой так, что кружилась голова.

А утром на дороге из деревни показалась повозка с боч-

ками, и Тоби, побелев, прошептал:

– Сборщик.

Глава 3. Расписку, будьте добры

Сборщик стоял у третьего улья, прижимая к носу белоснежный платок, и читал вслух. Не мне, не стражникам, не гудящему над его головой облаку, а словно самому небу, нараспев, как читают поминальную молитву.

– «Статья двенадцатая. Имущество чужеземца без хозяина отходит короне, и да будет оно описано, взвешено и опечатано в течение трёх дней со дня обнаружения».

Он был худой, длинный, в сером сюртуке с блестящим значком «пчела под короной», в серебряных очках, за стёклами которых глаза казались двумя мелкими пуговицами. Пальцы, державшие свиток, были в чернильных пятнах по самые костяшки. Рядом переминался бледный молодой человек с папкой под мышкой и чернильницей на шнурке, а у повозки, на безопасном расстоянии от ульев, топтались два стражника: один рыжеусый, плотный, спокойный, а второй, высокий, как жердь, пятился от каждой пчелы, как от осы с ножом. Высокий, как я потом узнала, звался Гидеон, и боялся он пчёл с детства.

– Господин сборщик! – Я подошла быстрым шагом, отряхивая руки о фартук. – Вы бы отошли от третьего. Он у меня нервный, а вы сейчас стоите прямо на его дороге домой.

Сборщик не спеша сложил свиток, снял очки, протёр их платком и снова надел. Вся процедура заняла времени ров-

но столько, чтобы я успела пожалеть о том, что вообще раскрыла рот.

– Мортимер Квилл, королевский сборщик медовой десятины, – представился он голосом сухим, как скрип пера. – Имею честь говорить с госпожой Липатовой? Мне сообщили, что на Липовом склоне появилась чужеземка с двадцатью ульями, причём без видимого владельца и без явных прав. С вашего позволения, я обязан констатировать, что по двенадцатой статье Медовой правды ваше имущество подлежит описи и передаче в казну. Мм. Вы можете возражать, но не раньше, чем я закончу.

– Я возражаю прямо сейчас, – сказала я. – У меня есть владелец. Это я.

– Сайлас, – Квилл повернулся к своему писарю, – запишите, пожалуйста: «заявила, что владельцем является она сама».

Писарь, бледный, как свежий творог, принялся строчить. Рыжеусый стражник Эдмунд подошёл к улью номер один, постучал по крыше сапогом, прислушался и, видимо, убедившись, что пчёлы его пока не трогают, начал считать вслух. Я хотела закричать на него, но Квилл поднял палец, и я удивилась, насколько этого жеста оказалось достаточно, чтобы я замолчала.

– Мм. И ещё одно, – продолжил он, будто мы обсуждали погоду. – Бумаги иной страны не имеют в Луговии силы. Любые. Даже самые красивые. Вы, безусловно, понимаете, что

не каждый документ следует брать в расчёт.

Я рассвирепела окончательно. Бумаги были моей последней крепостью, и услышать, что их не считают бумагами, всё равно что услышать, что мой дом не дом. Но сказать я ничего не успела, потому что над склоном прошёл холодный шорох, как от большой простыни, и на траву, на разложенные мной рядки, упала огромная тень.

Гидеон закричал. Тоби, прибежавший с ведром, с размаху сел на землю. А с неба на склон, подминая донник, опустился янтарный дракон, и ветер от его крыльев швырнул мне волосы в лицо так, что я забыла, зачем разевала рот. Он приземлился между мной и Квиллом, уперев лапы в землю, сложил крылья, и через секунду на этом месте уже стоял лорд Дорн, в тёмном камзоле, с чуть растрёпанными ветром волосами, и сухо кивнул сборщику.

– Господин Квилл. Какая неожиданность.

– Милорд. – Сборщик слегка поклонился, но платок от носа не убрал. – Я как раз знакомил госпожу Липатову с положением вещей. Позвольте заметить, что дело это казённое и вашего вмешательства не требует.

– Позвольте заметить в ответ, – сказал Элиан Дорн, медленно, с наслаждением, как человек, который давно ждал случая произнести эти слова, – что склон принадлежит мне, а на моём склоне стоят ульи. По первой статье Медовой правды всё, что на земле лорда, принадлежит лорду. Следовательно, пасека моя, а госпожа Липатова находится под моей

защитой, пока я не решу, как с ней поступить.

– По двенадцатой статье имущество чужеземца без хозяина отходит короне, – парировал Квилл, и пуговицы глаз за очками не мигали. – Пасека не ваша. У неё нет хозяина, а значит, корона.

– У неё есть хозяйка, господин сборщик, – сказал лорд. – Она стоит перед вами, и ей, смею заметить, отнюдь не безразлична судьба вашего платка, который вы так старательно к себе прижимаете.

Они заспорили. Говорили вежливо, ровно, не повышая голоса, и от этого было ещё страшнее: так спорят люди, которые знают друг друга много лет и ненавидят изысканно. Статьи летели одна за другой, как мячи, десятая, вторая, двенадцатая, четвёртая, я перестала следить уже на втором круге, но слышала главное. Оба говорили «пасека», оба говорили «мёд», но ни один не сказал «женщина, которая двадцать лет таскала эти ульи на себе». Я смотрела то на одного, то на другого и понимала, что обоим мои пчёлы нужны гораздо больше, чем они признаются. Квиллу нужна опись, чтобы сказать «корона». Элиану нужен мёд, и хотя я не знала, зачем, глаза у него горели тем же жадным огнём, что и в первое утро. Я стояла между ними, как между двумя ульями, у которых в спор вступила матка, и думала: нет, милые, так дело не пойдёт.

– Да остановитесь вы оба! – наконец закричала я, и спор оборвался на полуслове. – Вы тут развели казённую канце-

лярию над моим живым хозяйством! Мне хоть кто-нибудь объяснит, что вы с моими пчёлами собираетесь делать? В бумажку заворачивать? У них взяток, они работают, им некогда ваши статьи слушать!

– Сударыня, – начал Элиан.

– Госпожа Липатова, – одновременно с ним сказал Квилл.

– Замолчите оба! – Я подняла руку. – Я отказываю обоим. Вы, милорд, мне пчёл пока отсрочили, и спасибо, но всю землю себе не забирайте. А вы, господин Квилл, мои ульи не опишете, пока я не позволю. Хотите посмотреть, что у меня тут растёт? Приходите завтра на площадь, при всей деревне, и я вам покажу, сколько мёда даёт одна семья. Будем считать десятину, как положено, всем миром, честно, чтоб потом никто не сказал, что я утаила хоть ложку.

Над склоном повисла тишина, и в ней, как скрипка, звенели пчёлы. Квилл долго молчал, барабаня чернильными пальцами по свитку.

– Мм, – произнёс он наконец. – Откачка мёда с публичным взвешиванием. Редкая просьба. С вашего позволения, это не противоречит ни одной статье, а в статье девятой даже поощряется. Хорошо, госпожа Липатова. До завтра я приостановлю опись.

– Одна оговорка, – вмешался лорд. – Я тоже буду присутствовать.

– Разумеется, милорд, – холодно ответил сборщик.

Они разошлись в разные стороны, не простившись. Я

осталась на склоне с дрожью в коленях и с ощущением, что только что подписала себе приговор, который при этом отложили на сутки.

На следующее утро я поняла, что мне предстоит. Мы с Тоби и Джобом, который приехал на телеге с Бурым, увезли в деревню медогонку, четыре рамки с печатным мёдом, нож для распечатки, стол и сито, и на площади вокруг колодца собралась, кажется, вся Медвянка. Бабы с корзинами, мужики с трубками, дети, которым давно было велено сидеть дома, и, конечно, Хэтти с Молли. Молли оказалась громкой, пышной хохотуньей с полотенцем на плече, она тут же заявила, что за такое зрелище надо брать по грошу с носа, и покатилась со смеху от собственной шутки. Из толпы то и дело кто-нибудь спрашивал: «А это правда настоящий?» и «А можно потрогать?», и я каждый раз отвечала: «Руками не лезь, сначала вымой».

Я надела чистую косынку, повязала фартук и, поставив рамку на стол, взяла распечатывающий нож. Пчелиный воск под лезвием снялся тонкой прозрачной стружкой, и на срезе, под солнцем, заблестела вся рамка сразу, янтарная, густая, тягучая, и по толпе прошёл долгий общий вздох. Я вставила рамки в медогонку, закрутила ручку, и сначала ничего не происходило, только что-то гудело внутри, как мотор. А потом из носика ударила струя, густая, золотая, толщиной с палец, и потекла в подставленное ведро, играя на солнце.

– А-а-ах! – сказали в толпе.

– Ох, святые угодники, – прошептал кто-то из мужиков. – Настоящий. Живой.

Дети вытянули шеи. Одна из старух перекрестилась. Молли утихла и вытерла глаза полотенцем. Я продолжала крутить и краем глаза видела девушку лет семнадцати, с двумя тугими косами и решительным подбородком, которая стояла у самого стола и не двигалась. Она не просто смотрела. Она будто и не дышала, вся подалась вперёд, и когда я меняла рамки, каждое моё движение она повторяла кончиками пальцев, тихо, чтобы никто не заметил. Мне вдруг стало тепло. Так смотрела я сама, когда мне было шестнадцать и отец впервые подпустил меня к улью.

Два ведра, три, пятое. В толпе шептались, считали, спорили, сколько кринок это получится. Лорд Дорн, как и обещал, стоял чуть в стороне, у колодца, со скрещёнными на груди руками, и лицо у него было неподвижное, как маска, только по тому, как он сжимал локоть, я понимала, что ему стоит усилий не броситься к ведру. Квилл, напротив, стоял рядом со столом, и его взгляд, острый, хозяйский, бегал от меня к ведру и обратно, а писарь Сайлас, перегнувшись над папкой, записывал в столбик. Когда он дошёл до цифр, у него дрогнула рука, и он что-то пробормотал себе под нос.

– Одиннадцать кринок с четырёх рамок, – объявил он наконец. – Нет, простите, господин сборщик, двенадцать.

– Мм. Благодарю. – Квилл подошёл ближе, тонкими пальцами обхватил край ведра и заглянул внутрь. Ноздри у него

тонко дрогнули. – Следовательно, по закону о десятине, с вас, госпожа Липатова, полагается две кринки.

– Две кринки, – сказала я и отодвинула ведро. – Пожалуйста, господин сборщик. Вот, считайте. Кринки у вас есть?

Он сделал знак, и Эдмунд принёс из повозки две глиняные кринки с казённым клеймом. Я разлила в них мёд, сама, не торопясь, чтобы все видели, накрыла полотенцем и поставила на стол перед Квиллом. Потом выпрямилась, поправила косынку и сказала самым ровным голосом, на какой оказалась способна:

– Расписку, будьте добры, господин сборщик. С печатью. У нас без бумажки ты букашка. Он замер: думаю, за все восемнадцать лет службы ни одна чужеземка, ни одна мельничиха, ни один староста не говорили ему такого. Потом поправил очки и ответил: – Мм. С вашего позволения, госпожа Липатова, корона никогда не берёт без расписки, хотя подданные обычно не напоминают об этом вслух, – и обернулся к писарю, который уже достал бумагу и чернильницу. – Диктуйте, сударыня. Сайлас, записывайте.

Я продиктовала, стараясь не частить: «Принято от Аграфены Липатовой, пасечницы с Липового склона, медовой десятины две кринки. Седьмого июля». Сайлас дописал, и тут Квилл вдруг поднял палец и остановил его.

– Нет, – сказал он. – Мм. «Пасечница» не должность, а ремесло. В казённой бумаге плательщик значится владельцем, иначе десятина недействительна, и я не смогу сдать её в

казну. Давайте так: «владелицы пасеки на Липовом склоне». Так порядок.

Он взял у писаря перо и сам, сам, собственной чернильной рукой, вписал это слово. Я смотрела на него и не верила: человек, который вчера хотел описать моё имущество, только что собственноручно назвал меня его владелицей, потому что иначе нарушился бы казённый порядок. Пожалуй, это был самый странный подарок в моей жизни. Я промолчала, чтобы не спугнуть удачу.

– Ну вот, – сказал Квилл, и достал из кожаного футляра печать с чашечкой сургуча, – всё как положено.

Он накапал горячий сургуч, придавил печатью, и на бумаге остался чёткий оттиск: пчела под короной. Я взяла расписку обеими руками, перечитала дважды, до последней запятой, потому что слова человеку верить не привыкла, а бумаге верила. Потом сложила листок вчетверо и спрятала за пазуху, чтобы потом вложить в журнал.

– Благодарю, господин сборщик.

– Мм, – коротко отозвался Квилл. Он ещё раз окинул взглядом ведро, прижал платок к носу и сказал уже холодно, будто возвращаясь на привычное место: – Госпожа Липатова, вопрос о правах на пасеку остаётся открытым. Он должен быть решён в столице, и будьте уверены, что решение принесёт королевский указ. До тех пор вы можете находиться на склоне, но без права вывоза. Сайлас, в повозку.

Он повернулся и ушёл к своему дому на площади, не огля-

нувшись. Лорд проводил его взглядом, потом подошёл ко мне, неторопливо, как будто и не собирался этого делать, остановился у стола и посмотрел на оставшееся ведро.

– Весьма изящно, сударыня, – произнёс он тихо, так, чтобы слышала только я. – Вы только что заставили королевского сборщика собственноручно признать вас владелицей. Он, разумеется, этого не понял. Но поймёт, и тогда, смею предположить, захочет это исправить.

– Он вписал слово, милорд, и никакая статья его оттуда не вычеркнет, – ответила я, вытирая руки. – А вам спасибо, что не мешали.

– Я не оказал вам никакой услуги, – сказал он, слегка поклонился и пошёл прочь, к колодцу, мимо притихшей толпы, а я стояла и думала, что за всё это время он ни разу не посмотрел мне в глаза.

Когда толпа разошлась, ко мне подошла Пенни. Она переминалась, сжимала косы в кулаках и наконец выдохнула, не поднимая головы:

– Госпожа Липатова, а можно мне к вам? Учиться. Я могу таскать, мыть, делать что скажете. Только возьмите. Я всю жизнь про это мечтала.

– Придёшь на склон, – сказала я. – Завтра, с рассветом. Платков и шляп не надо, надо только слушаться.

Она просияла, и по её лицу я поняла, что слушаться будет безоговорочно.

Домой, то есть на склон, мы возвращались уже в сумерках,

втроём: я, Тоби и Бурый с телегой. Тоби шёл рядом, сопел, вертел в руках щепку, а потом вдруг сказал, глядя себе под ноги:

– Госпожа Груня, а сборщик ведь так просто не отстанет. Он гонца в столицу пошлёт. Это у него в обычае. Придёт указ, и всё, будет, как он скажет. Вы бы подготовились.

– Подготовлюсь, – ответила я. – Бумаги у меня теперь есть.

Дома я достала журнал, вложила расписку между страниц, на седьмое июля, и придавила камнем, чтобы не унёс ветер. Руки у меня дрожали, не от страха, а от того, как странно оказалось выиграть. Я подошла к краю склона, выпить воды из фляги, и подняла голову к замку. На башне, в красном закатном свете, стоял один человек. Это был Элиан, и в его дыхании не было огня, только серая струйка дыма, которую ветер нёс прямо на мои ульи.

Глава 4. Янтарная липа

Утром восьмого июля я открыла двенадцатый улей, и рамки засветились.

Не на солнце, где, как известно, и воск блестит, и капля сиропа горит стеклом, а в тени, когда я накрыла улей собственным телом, как делаю всегда, проверяя расплод. Я стояла в сетке, в плотном костюме, с дымарём в левой руке, и держала правой рамку, наклонившись над ней так, что свет из улья падал мне прямо на лицо. Свет был слабый, тёплый, цвета старой меди, и шёл он из каждой запечатанной ячейки, ровно, как идёт от свечи, поставленной за стекло. Я подумала, что у меня что-то с глазами. Потом подумала, что у меня что-то с головой. Потом, поскольку обе версии мне не понравились, повернула рамку к тени ещё раз, потом ещё, и ячейки светились всё так же, не мигая.

– Ну здравствуйте, мои хорошие, – прошептала я, потому что говорить громче не хватало духа. – Это вы что же такое навострились делать? Вы у меня и в Ташлах не светились.

Пчёлы гудели привычно, добродушно, и ни одна не ужалила, хотя я стояла, как дура, с открытым ульем на ветру и разглядывала их труды. Я вытащила третью рамку, четвёртую. На всех то же самое: из-под воска пробивалось янтарное сияние, а у самой кромки сот мёд уже стоял густой, тёмный, пахнущий липовым цветом, но не простым, не нашим,

а каким-то глубоким, тёплым, с лёгким дымком, как от тлеющей коры. Я сняла перчатку, потому что тут без ритуала нельзя, поддела ногтем крышку одной ячейки и слизнула с пальца каплю.

Вкус оказался такой, что я села прямо на землю. Мёд был сладкий, да, но не приторный, а как будто тёплое молоко с мёдом и вареньем разом, и в то же мгновение это тепло пошло из горла вниз, в живот, в руки, в ноги, по всем жилам, по каждой жилке, до самых кончиков пальцев, как если бы кто-то налил в меня горячей воды. Я замерла. В пояснице, где у меня двадцать лет сидела тупая ноющая боль от ульев, от рамок, от того, что я таскала на себе всё хозяйство, вдруг стало легко. Совсем легко, будто там никогда ничего и не было. Я выгнулась, как в молодости, потянулась, и спина не хрустнула.

– Ох ты ж мать честная, – выдохнула я, и вот тогда мне, наконец, стало понятно, почему мёд тут дороже золота.

Не потому, что редкий. Потому что лечит.

Я так и сидела на траве, с рамкой на коленях, когда за спиной кто-то громко сглотнул. Я обернулась и увидела Пенни, которая стояла в трёх шагах, в платье, подвязанном шнурком, в косынке, натянутой на уши, с узелком в руках и с глазами во всё лицо. Она пришла с рассветом, как и было велено, и застала меня на коленях, как язычницу над костром.

– Госпожа Липатова, – прошептала она. – Он светится.

– Светится, – согласилась я. – И ты, голубушка, никому

об этом не говори, пока я не пойму, что это значит. Договорились?

– Договорились, – так же шёпотом ответила она, а потом, после паузы, добавила: – Я вам хлеб принесла. И сыр. Мама сказала, что на пустой желудок с пчёлами не работают.

Мама у неё была умная. Я ела хлеб, глядя, как вокруг меня гудит склон, и в голове у меня постепенно складывалось, как на столе в мозаике, то, что я не желала складывать. Мёд лечит. Лорд на меня смотрел жадно. Сборщик понюхал ведро так, будто принюхивался к золотому слитку. Бабы на площади шептали «живой». Они тут не за пчёл дерутся, они дерутся за лекарство.

Я встряхнулась. Легче от этой мысли не стало, но стало яснее, а ясность для пасечницы лучше любого лекарства.

– Ну, ученица, – сказала я, надевая на Пенни запасную сетку, которая сидела на ней как мешок, – слушай. Первое правило: ты не боишься. Пчёла чует страх, как собака. Второе: руками не машешь. Махнёшь, она решит, что на неё нападают, и сама нападёт. Третье: двигаешься медленно, будто в киселе, а говоришь тихо. Всё понятно?

– Понятно, – сказала Пенни, и по глазам видно было, что не очень. Я вложила ей в руки дымарь, показала, как раздувать, как держать носик, чтобы дым шёл белый, холодный, а не чёрный, и дала пробный урок прямо на втором улье. Сперва она тряслась так, что дымарь ходил ходуном, и дым стелился куда попало. Потом я поставила ладонь поверх её

руки, выровняла, и она ахнула, потому что вдруг увидела, как дым укладывается по рамкам ровным облаком, а пчёлы разбредаются и затихают.

– Видишь? Они не злые. Они ждут, когда на них перестанут кричать.

– Совсем как люди, – сказала Пенни.

– Ох, милая, – засмеялась я. – Только пчёлы честнее.

Мы проработали до полудня. Пенни не жаловалась, не отпрашивалась, ни разу не ойкнула, когда одна пчела села ей на запястье, и только покраснела, когда я похвалила. К двенадцати она уже умела открывать улей, вытаскивать рамку и ставить её назад, а я поймала себя на том, что объясняю ей так подробно и охотно, как не объясняла никому лет десять.

Около часа дня на склон прибежал запыхавшийся Тоби, который с утра торчал в замке, и сообщил, что Хэтти велела мне быть на кухне.

– К лорду? – испугалась я.

– К Хэтти, – успокоил Тоби. – Она сказала: если не придёшь, она сама придёт с половником.

Триста ступеней вверх, до замка, оказались лестницей из серого камня, вытертой посередине, с редкими площадками, на каждой из которых хотелось помереть. Я одолела их пыхтя, обливаясь потом и ругая себя за то, что в сорок два года нельзя бегать с ульями по склонам, но на последних пролётах заметила странную вещь: дыхание у меня почти не сбивалось. Я улыбалась себе всю дорогу.

Кухня у Хэтти была огромная, каменная, с очагом, в котором мог бы поместиться добрый телёнок, с медными котлами по стенам и с длинным столом, заставленным мисками. Хэтти встретила меня на пороге, взяла за плечи и усадила прямо на лавку, не слушая никаких «я только на минуточку».

– Ох, деточка, наконец-то! Садись, садись, вот тебе суп, вот хлеб, а вот пирожки, я тебе пирожки напекла, ты же вчера на площади такая бледная была, смотреть страшно! Ешь, давай, а то там у себя на склоне хоть ветром питайся!

– Хэтти, да я…

– Ешь! – скомандовала она, и тут же, не давая мне открыть рот, принялась рассказывать. Рассказывала она о замке, о конюшне, о том, как Тоби повадился воровать у неё сахар, о Джобе, который сватался к ней двадцать лет назад, но потом передумал, и о том, как она ему этого не простила, но и не забыла. Рассказывала так вкусно и сочно, что я съела суп до дна, а потом принялась за пирожки, не замечая, как и когда.

– А про лорда ты что-нибудь знаешь? – спросила я, когда она на минуту остановилась перевести дух. – Он мне на днях на башне привиделся… то есть я вечером видела, что он стоит один и дымит.

– Дымит? – Хэтти замерла с половником. – Ох, деточка, да что ты, он у нас здоровый, как бык. Здоровее, чем когда-либо был. Я его маленьким помню: в семь лет уже огонь пускал, в школе поджёг учителю бороду. – Она отвернулась к очагу,

и я заметила, что голос у неё стал тише. – Он в отца удался, в Эверарда. Тот такой же был, гордый и упрямый. Умер он, лорд Эверард, в восемнадцатом году, ещё молодой, только пятьдесят пять стукнуло. «От холода в груди», так в книге и записано. Что за холод в груди в июле, я до сих пор не пойму. Лето стояло, цвели луга, а он лежал в постели, под тремя одеялами и стучал зубами.

Я не нашлась, что ответить. Хэтти поставила передо мной кружку с травяным чаем, вздохнула, и тут же, будто устыдившись собственной грусти, махнула полотенцем:

– Ну что ты, деточка, зачем я тебе это всё рассказываю. Ты ешь. Расскажи лучше про свои ульи, про то, как у вас в тех землях пчёл делают. Я слыхала, вы их в ящики сажаете и кормите сахаром.

– Не всегда сахаром, – возразила я и принялась рассказывать, а потом незаметно мы заговорили про пироги, про соленья, про то, как моя мать делала варенье из лепестков роз, и я впервые за четыре дня засмеялась, не сдерживаясь, до слёз. Хэтти, оказывается, умела слушать лучше любого исповедника. К вечеру я знала, что у неё есть сестра в соседней долине, что она не любит козий сыр, что весной у неё сорвало ключ от погреба, и она полдня лазила в окно. А она знала про меня, про Ташлы, про маму, про Вадима, про ульи, про всё, кроме одного: почему я не плакала в день развода. Об этом я рассказывать не стала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.